



**Д. И. ПИСАРЕВ**

**Пушкин и Белинский**

<2>

**ЛИРИКА ПУШКИНА**

Чтобы окончательно реабилитировать Белинского в глазах солидных людей, я приведу его отзыв о стихе Пушкина. «И что же это за стих! — восклицает наш критик. — Античная пластика и строгая простота сочетались в нем с обаятельною игрою романтической рифмы; все акустическое богатство, вся сила русского языка явились в нем в удивительной полноте; он нежен, сладостен, мягок, как ропот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руке богатыря»<sup>1</sup>. — Напрасно Белинский не прибавил еще, что стих Пушкина красен, как вареный рак, сладок, как сотовый мед, питателен, как гороховый кисель, вкусен, как жареная тетерька, упоителен, как рижский бальзам, и едок, как сарептская горчица. Если можно сравнивать стих с волною, с смолою, с молниею, с кристаллом, с весною, с ударом меча, то я не вижу резона, почему не сравнить его с вареным раком, с гороховым киселем, с сарептскою горчицею и вообще со всеми предметами, существующими в земле, на земле и под землею. — Простые смертные смотрят, конечно, с немым изумлением на ту эстетическую оргию, которой предается Белинский; но это изумление в порядке вещей; простые смертные не могут и не должны понимать тех высших красот, которыми упиваются посвященные. Это существование высших красот, доступных только избранным натурам, подтверждает своим свидетельством другой посвященный — Гоголь, которого слова с особенным удовольствием, сочувствием и уважением цитирует Белинский в конце той же пятой статьи о Пушкине.

«Чтобы быть способну понимать их, — рассуждает Гоголь, — нужно иметь слишком тонкое обоняние; нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сибабитом, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности привыкшему глотать изделия крепостного повара»<sup>2</sup>.

Можно было бы нахохотаться вдоволь, глядя на Гоголя и Белинского, с умилением и с гастрономическим благоговением беседующих между собою о необходимости *слишком тонкого обоняния*, о смолистой тягучести пушкинского стиха и о не постижимых достоинствах *птички не более наперстка*. Но не до смеха будет тому читателю, который подумает, что не с жиру, а с горя беседовали эти люди о птичках величиною с наперсток. По неволе приходилось рассуждать о подобных птичках, когда о более крупной дичи рассуждать было неудобно. От недостатка упражнения в тогдашних людях слабела способность и, наконец, замирало даже желание подвергать анализу такие явления жизни, которыми нельзя *услаждаться* как жареною птичкою. Удивительно не то, что Белинский поет нелепый дифирамб во славу жареным птичкам, соединяющим в себе тягучесть смолы с благоговием весны и с яркостью молнии, а то, что он еще умеет находить область эстетики *тесною* и душною для мыслящего критика. Удивительно то, что Белинский, в самом разгаре своего эстетического восторга, не упустил из виду ни одного из существенных недостатков пушкинской поэзии. Вслед за тою неистовою тирадою, которая приписывает пушкинскому стиху свойства смолы, весны и молнии, является следующее, очень верное, хотя, конечно, чересчур любовное определение характеристических особенностей нашего поэта. «В Пушкине, *напротив*, прежде всего увидите вы художника, вооруженного всеми чарами поэзии, призванного для искусства как для искусства, исполненного любви, интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящего все и потому терпимого ко всему. Отсюда все достоинства, все недостатки его поэзии; и если вы будете рассматривать его с этой точки, то с удвоенною полнотою насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки как необходимое следствие, как оборотную сторону его же достоинств»<sup>3</sup>.

В этих кротких и ласковых словах заключается самое полное и беспощадное осуждение не только одной пушкинской поэзии, но и вообще всякого чистого искусства. Кто любит все, тот не

любит ровно ничего; кто любит одинаково сильно истца и ответчика, страдальца и обидчика, истину и предрассудок, тупого обскуранта и гениального мыслителя, тот, очевидно, не может желать, чтобы истец выиграл свой процесс, чтобы страдалец поборол обидчика, чтобы истина истребила предрассудок и чтобы гениальный мыслитель одержал решительную победу над тупыми обскурантами. Всеобъемлющая, тепловатая любовь, по совершенно справедливому замечанию Белинского, непременно ведет за собою всестороннюю терпимость, возможную только при совершенно бессмысленном, безучастном и бесстрастном взгляде на жизнь. Кто во всех явлениях жизни ищет только эстетически прекрасного, тот, очевидно, должен смотреть на людей так, как ребенок смотрит на пестрые камушки и цветные стеклышки калейдоскопа. При таких отношениях к жизни не может быть ни любви к людям, ни верного и глубокого понимания их стремлений и страданий. Это ребяческое равнодушие к людям, это тупое непонимание жизни составляют действительно, как замечает Белинский, необходимое следствие или *оборотную сторону* тех достоинств, которыми восхищаются эстетики в произведениях чистого художника. Если бы не было этой *оборотной стороны*, тогда чистый художник превратился бы в страстного бойца за ту или другую идею, и тогда он уже потерял бы способность угощать эстетических гастрономов птичками величиною с наперсток. Но так как эта *оборотная сторона* достойна самого полного и неумолимого презрения и так как она составляет, по словам самого же Белинского, необходимую принадлежность самой медали, то нетрудно сообразить, что и вся медаль совсем никуда не годится.

Несмотря на всю ласковость своих отношений к Пушкину, Белинский сам глубоко чувствует неудовлетворительность этой медали. Во-первых, я попрошу читателей обратить внимание на слово *напротив*, подчеркнутое мною в моей последней выписке из Белинского. Это слово поставлено Белинским потому, что он противопоставляет Пушкина Шекспиру, Байрону, Гете и Шиллеру. — Шекспир, по словам Белинского, «*глубокий сердцеведец, мирообъемлющий созерцатель*». В Байроне Белинского поражает «*ужасом удивления колоссальная личность поэта, титаническая смелость и гордость его чувств и мыслей*». Гете — «*поэтически созерцательный мыслитель, могучий царь и властелин внутреннего мира души человека*». Перед Шиллером Белинский преклоняется «*с любовью и благоговением*» как «*перед трибуном человечества, провозвестником гуманности, страстным поклонником всего высокого и нравственно прекрасного*».

Набросав, таким образом, эти четыре характеристики, Белинский вводит в это избранное общество гениальных поэтов нашего маленького Пушкина. Вводя его, он произносит ту рекомендательную фразу, которую я выписал выше. Благосклонность этой рекомендательной фразы выставляет особенно рельефно то печально-комическое обстоятельство, что нашему маленькому Пушкину решительно нечего делать в той знатной компании, в которую он попал совершенно некстати, по милости своего лукавого доброжелателя, Белинского. Наш маленький и миленький Пушкин не способен не только вставить свое слово в разговор важных господ, но даже и понять то, о чем эти господа между собою толкуют. В самом деле, что такое Пушкин и что такое те люди, с которыми сводит его Белинский? Один из этих людей — *глубокий сердцеведец*, другой — *смелый и гордый титан*, третий — *царь и властелин внутреннего мира*, четвертый — *трибун человечества*. Как видите, народ все чиновный! Все тузы литературной колоды, и у каждого туза своя собственная физиономия. Ну, а Пушкин-то что же такое? — Пушкин — художник?! Вот тебе раз! — Это что же за рекомендация? А Шекспир небось не художник? Байрон — не художник? Гете — не художник? Шиллер — не художник? — Кажется, все они художники, но, кроме того, каждый из них оказывается еще крупным человеком, с ясно обозначенным характером и с совершенно своеобразным складом ума. Художественная виртуозность для каждого из них является только средством выразить в общепонятных и привлекательных формах то, что составляет внутреннее содержание, внутренний смысл, жизнь и силу их энергических и резко очерченных личностей. Художественная виртуозность для них то же самое, что приличное платье для каждого из нас. Когда вы отправляетесь в общество, вы, конечно, заботитесь о том, чтобы ваше платье было опрятно и не изорвано; но, разумеется, вы отправляетесь в общество не за тем, чтобы показать людям ваше новое платье. Бывают, конечно, и такие господа, которые выезжают в свет именно с этою последнею целью, но таких господ умные люди не уважают и клеймят названием праздношатающихся шалопаев, или ходячих вешалок, или говорящих манекенов (*mannequin*). Если бы, собирая сведения о незнакомом вам человеке, вы услышали о нем от самых близких его друзей только то, что он отменно хорошо одевается, то вы, без сомнения, подумали бы о нем, что он совершенно пустой, ничтожный и ограниченный человек, потому что, в противном случае, его друзья обратили бы внимание не на покрой его платья, а на особенности его ума и характера. Представьте же себе, что отзыв Белинского о Пушкине совер-

шенно равносителен этому отзыву близких друзей о господине, одетом по последней моде. Пушкин — художник и больше ничего! Это значит, что Пушкин пользуется своею художественною виртуозностью как средством посвятить всю читающую Россию в печальные тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственного бессилия. Этот неотразимый вывод особенно настояно напрашивается на внимание читателя именно потому, что Белинский свел своего protégé \* Пушкина с такими людьми, которых значение состоит совсем не в безукоризненном покрое платья. <...>

\* \* \*

Пушкин неоднократно выражал свой взгляд на призвание поэта. Поэт разговаривает с книгопродавцем, потом с чернью, потом с другом и во всех этих разговорах высказывает много самых диковинных штук, имеющих претензию быть мыслями. Кроме того, Пушкин не раз обращается к поэту со стороны и усматривает в нем то орла, то эхо, то жреца<sup>4</sup>. Видно, что Пушкину было очень приятно позировать перед зеркалом и примеривать на себя разные риторические наряды. Так как эти беседы с поэтом и о поэте, то есть с собою и о себе, составляют все-таки самую глубокомысленную часть пушкинской лирики, то я разберу эти беседы одну за другою в хронологическом порядке. В стихотворениях 1824 года находится «Разговор книгопродавца с поэтом». Книгопродавцу желательно купить у поэта его произведение, а поэту, по всей вероятности, желательно взять за это произведение как можно дороже. Желания обеих заинтересованных сторон одинаково естественны и законны, и поэту, по-видимому, просто следовало бы поторговаться с книгопродавцем так, как торгуются вообще всякие поэты, прозаики и простые смертные. Но поэту, выведенному Пушкиным и составляющему, по всей вероятности, идеал Пушкина, хочется сначала поломаться, и поэтому он душит несчастного книгопродавца длиннейшими монологами, не имеющего никакого отношения ни к книжной торговле, ни к цене того товара, который поэт держит в своем портфеле. Книгопродавец, разумеется, слушает болтливую «любимца муз и граций» с почтительным вниманием и отвечает на его монологи приличными комплиментами, потому что предвидит от его лиры много добра или, проще, надеется зашибить на

\* протее (фр.). — Сост.

его новой поэме порядочный барыш. Конечно, поэт прежде всего старается заявить, что ему тяжело и больно продавать свое вдохновение. Когда книгопродавец говорит ему: «Стишки любимца муз и граций мы вам рублями заменим», тогда поэт вздыхает, и притом столь глубоко, что книгопродавец из вежливости принужден изъяснить свое участие и осведомиться о причине такого вздоха. Поэту только и нужно было. Придравшись к вопросу книгопродавца, он немедленно приступает к изготовлению монолога:

Я был далеко,  
Я время то вспоминал,  
Когда, надеждами богатый,  
Поэт беспечный, я писал  
Из вдохновенья, не из платы.  
Я видел вновь приюты скал...

Ну, и так далее; начинаются картины природы, потом оказывается, что какой-то демон обладал его играми и шептал ему дивные звуки, что его голова была полна тяжким пламенным недугом, что его соперником в гармонии был шум лесов, и буйный вихрь, и живой напев иволги; что он не унижал постыдным торгом сладостных даров музыки и не хотел делиться с толпою пламенным восторгом.

Видя, что поэт напирает на какую-то постыдность торга, и предчувствуя, с содроганием сердца, в этом возвышенном разговоре коварнейший маневр, направленный к тому, чтобы набить цену, которая, очевидно, должна будет покрыть собою не только труд поэта, но еще и *позор* торговой сделки, — несчастный книгопродавец, некстати осведомившийся о причине вздоха, старается показать своему собеседнику лицевую сторону медали и заговаривает о славе, которая, по его мнению, заменила поэту «мечтанья тайного отрады». Но поэт твердо решил ободрать книгопродавца, как липку, и поэтому относится к славе очень сурово. «Что слава? — спрашивает он, — шепот ли чтеца? Гоненье ль низкого невежды? Иль восхищение глупца?»

Тут поэт, по-видимому, сам признается в том, что только глупец может восхищаться его произведениями. Не будем с ним спорить. Книгопродавец, из чувства самосохранения, никак не хочет, однако, согласиться с тем, что слава — звук пустой. Он напоминает поэту, «что сердце женщин славы просит: для них пишите».

Поэт, продолжая жеманиться и кривляться, уверяет, что ему и до женщин нет никакого дела, тем более что для него это не

диковинка. Тут он никак не может утерпеть, чтобы не намекнуть книгопродавцу о своих победах, и говорит:

Глаза прелестные читали  
 Меня с улыбкою любви;  
 Уста волшебные шептали  
 Мне звуки сладкие мои.

Но мне, дескать, это все нипочем.

Нечисто в них воображенье:  
 Не понимает нас оно,  
 И, признак бога, вдохновенье  
 Для них и чуждо и смешно.

Значит, не стоит с ними и связываться. Но книгопродавец является галантерейным защитником прекрасного пола, у которого оказалось такое пакостное воображение, и спрашивает:

Ужели ни одна не стоит  
 Ни вдохновенья, ни страстей  
 И ваших песен не присвоит  
 Всесильной красоте своей?

Поэт отвечает весьма пространно и восторженно, что такая отменно хорошая барыня, без нечистого воображения, действительно существует, но что, к сожалению, она его знать не хочет. Книгопродавцу в это время уже до смерти надоело выслушивать и почтительно одобрять бестолковые монологи. Поэтому он торопится прийти к практическому заключению и говорит:

Теперь, оставя шумный свет,  
 И муз, и ветреную моду,  
 Что ж изберете вы?

Поэт отвечает: «свободу!» Это неожиданное решение может показаться читателю чересчур храбрым и, пожалуй, даже неисполнимым. Но читатель должен помнить, что ведь эта пушкинская свобода — свобода самая смиренная и непритворливая, и даже незаметная, в том смысле, что ее можно принять за нечто вовсе не похожее на свободу. Пушкин во многих своих стихотворениях прославляет свободу, но это обстоятельство несколько не должно вредить его репутации в глазах солидных и добродетельных людей. Книгопродавец очень хорошо понимает, о какой свободе тут идет речь, и вследствие этого очень основательно замечает поэту, что

в сей век железный  
 Без денег и свободы нет.

Вы, дескать, сначала извольте мне продать вашу поэмочку, а потом ложитесь на диван, задерите ноги кверху и плюйте в потолок, то есть наслаждайтесь вашей свободой до тех пор, пока не истратите всех полученных денег. Поэту, по-видимому, тоже надоело кривляться и пустословить. Он отвечает книгопродавцу прозой: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся». — Тем и оканчивается вся пьеса.

Не знаю, стоит ли эта пьеса выше или ниже критики, но знаю наверное, что она стоит вне критики, потому что в ней нет решительно ни одной мысли — ни такой, против которой можно было спорить, ни такой, с которой можно было бы согласиться. Во всем разговоре нет ничего, кроме непроходимого пустословия, и это пустословие выставляет поэта в самом мизерном виде. Он оказывается похожим на старую кокетку, которой до смерти хочется согрешить, но которая при этом непременно желает, чтобы ее вовлекли в грех почти насильно. Если Пушкин сам смотрел на своего поэта с уважением и если он хотел внушить это чувство своим читателям, то мне остается только подивиться как пронизательности Пушкина, так и его искусству. Если же Пушкин хотел действительно написать сатиру на поэтов, то можно заметить, что эта сатира длинна, скучна и страдает полным отсутствием остроумия.

В 1827 году Пушкин написал стихотворение «Поэт». Вот оно:

Пока не требует поэта  
 К священной жертве Аполлон,  
 В заботах суетного света  
 Он малодушно погружен;  
 Молчит его святая лира,  
 Душа вкушает хладный сон,  
 И меж детей ничтожных мира,  
 Быть может, всех ничтожней он.  
 Но лишь божественный глагол  
 До слуха чуткого коснется,  
 Душа поэта встрепенется,  
 Как пробудившийся орел.  
 Тоскует он в забавах мира,  
 Людской чуждается молвы;  
 К ногам народного кумира  
 Не клонит гордой головы;  
 Бежит он, дикий и суровый,  
 И звуков и смятенья полн,  
 На берега пустынных волн,  
 В широкошумные дубровы...

<...> Блестящие фигуры и фразы этого стихотворения предоставляют каждому рифмоплету полнейшее право быть пошлым

дураком и отъявленным негодяем; эти фигуры и фразы дают ему даже драгоценную возможность рисоваться своею глупостью и своим негодяйством. — «Друг любезный, — спрашиваете вы у такого господина, — зачем ты баклуши бьешь?» — «Затем, mon cher \*, — отвечает он вам с благородной гордостью, — что Аполлон не требует меня к священной жертве». — «А когда ж он тебя потребует?» — «А я почему знаю! Поди спроси у Аполлона». — «А зачем ты пьянствуешь?» — «Затем, что душа моя вкушает холодный сон». — «А взятки зачем берешь?» — «Затем, что я малодушно погружен в заботы суетного света». — «А зачем ты своего вице-директора в плечико целуешь?» — «Затем, что я, быть может, ничтожнее всех ничтожных детей мира». — «Да ведь все это, братец ты мой, очень скверно». — «Нисколько не скверно. Все это доказывает только, что я самый настоящий поэт, что душа моя встрепенется, как пробудившийся орел, что у меня зазвенит в ушах и что я убегу от моего вице-директора в широкошумные дубровы». — «Скатертью тебе дорога, любезный друг».

В 1828 году Пушкин написал стихотворение «Чернь», в котором, по словам Белинского, заключается его «художническое profession de foi» \*\*<sup>5</sup>. Выдержками из этого стихотворения любители чистого искусства обыкновенно подкрепляют свои умозрения. <...> в нем каждое слово есть драгоценный перл для беспристрастной оценки Пушкина.

Поэт по лире вдохновенной  
 Рукой рассеянной бряцал.  
 Он пел, а холодный и надменный  
 Кругом народ непосвященный  
 Ему бессмысленно внимал.

<...>Пушкин говорит, что поэту *бессмысленно* внимал *холодный* и *надменный* народ. Все три ругательные эпитета, которыми охарактеризован народ, не только сами по себе нелепы, но даже совершенно противоречат тем чертам, которыми сам же Пушкин обрисовывает народ в том же стихотворении. Что народ слушает *не бессмысленно*, это видно из того, что он высказывает о песне поэта очень верные замечания, против которых поэт не находит никаких аргументов, кроме энергических ругательств и ничтожных насмешек, желающих быть язвительными. Что народ не может быть назван *холодным*, — видно из того, что он поддается влиянию даже той песни, которой бесцельность он сам

\* Мой милый (фр.). — Сост.

\*\* Исповедание веры (фр.). — Сост.

замечает и осуждает. Народ говорит о поэте: «Зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей». Если народ чувствует в своем сердце волнения и мучения в такой сильной степени, что даже уподобляет поэта своенравному чародею, то где же та *хладность*, в которой упрекает его Пушкин? — Что народ не может быть назван *надменным*, — видно из того, что этот народ смиренно кается перед поэтом в своих грехах, просит поэта быть его руководителем и обещает терпеливо и внимательно выслушивать его резкие наставления. А *надменным* оказывается, напротив того, поэт, который на эту смиренную просьбу народа отвечает: убирайтесь к черту! *Хладным* оказывается также поэт, которого не трогают ни пороки ближних, ни их раскаяние, ни их желание исправиться. *Бесмысленным* оказывается опять-таки тот же поэт, который, как мы увидим дальше, советует народу врачевать душевные недуги *бичами, темницами и топорами*. Если можно в чем-нибудь упрекнуть *непосвященный* народ, то разве только в том, что он, по свойственной всякому народу склонности ротозейничать и кланяться в пояс, остановился слушать пение такого отъявленного кретина, а потом у этого же безнадежного кретина вздумал выпрашивать себе разумных советов.

<...> Спрашивается: может ли действительно волновать и мучить сердца такой поэт, который ничему не учит своих читателей, не ведет их ни к какой определенной цели и не приносит им никакой пользы? О чем пел или, как выражается *тупая чернь*, брэнчал поэт, — этого мы не знаем, потому что Пушкин, к сожалению, не сообщает нам его песни. Если бы он пел о правах и обязанностях человека, о стремлении к светлому будущему, о недостатках современной действительности, о борьбе человеческого разума с вековыми заблуждениями, о сознательной любви к отечеству и к человечеству, о значении того или другого исторического переворота, — то, разумеется, его пение волновало и мучило бы сердца, но в то же время самый тупой, самый хладный, надменный и бессмысленный народ не мог бы упрекнуть это пение в том, что оно ничему не учит, не ведет ни к какой цели и не приносит никакой пользы. Если бы пение поэта наводило слушателей на серьезные размышления, если бы оно пробуждало или усиливало в них любовь к истине, ненависть к обману и к эксплуатации, презрение к двоедушию и к тупоумию, то народу оставалось бы только слушать и благодарить, а поэту не было бы ни малейшего основания ссориться с *тупою чернью*, зараженною грубыми утилитарными предрассудками. <...>

<...> В стихотворении «Памятник», написанном в 1836 году, Пушкин, уже шесть лет тому назад провозгласивший себя царем, производит себя в бессмертные гении и в благодетели человечества. Наш бессмертный гений прямо говорит:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный;  
 К нему не зарастет народная тропа,  
 Вознесся выше он главою непокорной  
 Наполеонова столпа (это называется excusez du peu!) \*  
 Нет! весь я не умру — душа в заветной лире  
 Мой прах переживет и тленья убежит —  
 И славен буду я, доколь в подлунном мире  
 Жив будет хоть один пиит.  
 Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,  
 И назовет меня всяк сущий в ней язык:  
 И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  
 Тунгус, и друг степей калмык.  
 И долго буду тем народу я любезен,  
 Что чувства добрые я лирой пробуждал (?),  
 Что прелестью живой стихов я был полезен (?)  
 И милость к падшим призывал (?)

Превознеся самого себя выше облака ходячего и умилившись достаточно над всеми своими человеческими и даже гражданскими добродетелями, Пушкин вдруг напускает на себя кротость, смирение и равнодушие к той самой славе, в которой он превзошел Наполеона и перед которою преклонятся со временем тунгусы и калмыки.

Веленью божию, о муза, будь послушна,  
 Обиды не страшись, не требуй и венца,  
 Хвалу и клевету приемли равнодушно  
 И не оспаривай глупца<sup>6</sup>.

Призывая к себе на помощь дикого тунгуса и друга степей калмыка, Пушкин поступает очень расчетливо и благоразумно, потому что легко может случиться, что более развитые племена Российской империи, именно финн и гордый (?) внук славян, в самом непродолжительном времени жестоко обманут честолюбивые и несбыточные надежды искусного версификатора, самовольно надевшего себе на голову венец бессмертия, на который он не имеет никакого законного права.

Любопытно заметить, что в основание своего нерукотворного памятника Пушкин кладет такие резоны, которые целиком за-

\* Извините (фр.). — Сост.

имствованы из осмеянного и оплеванного им мирозерцания *тупой черни*. Когда поэту приходится предъявлять свои права на бессмертие, тогда он поневоле принужден заговорить серьезным языком мыслящего реалиста; он признает над собою суд того народа, который прежде украшался обыкновенно эпитетом «*бесмысленный*»; он заговаривает о *добрых чувствах*, тогда как прежде у него шла речь только о *сладких звуках*; наконец, он даже произносит слово *полезен* и соглашается, таким образом, вступить в состязание с *печными горшками*.

Эти невольные уступки гордого поэта доказывают очевидно, что утилитарные аксиомы заключают в себе естественную объяснительную силу даже для тех поверхностных умов, которые не способны вывести из этих аксиом все основное направление собственной жизни и деятельности. Но, обнаруживая собою непоколебимую прочность утилитарных истин, вынужденные уступки эти, конечно, не могут принести ни малейшей пользы личному делу самого Пушкина. Это дело окончательно проиграно, и уступки, сделанные Пушкиным, дают мыслящим реалистам полное право осудить его безапелляционно во имя тех самых принципов, на которые он старается опереться и которые он, следовательно, признает истинными. «Я буду бессмертен, — говорит Пушкин, потому что я пробуждал лирой добрые чувства». — «Позвольте, господин Пушкин, — скажут мыслящие реалисты, — какие же добрые чувства вы пробуждали? Привязанность к друзьям и товарищам детства? Но разве же эти чувства нуждаются в пробуждении? Разве есть на свете такие люди, которые были бы не способны любить своих друзей? И разве эти каменные люди, — если только существуют, — при звуках вашей лиры сделаются нежными любвеобильными? — Любовь к красивым женщинам? Любовь к хорошему шампанскому? Презрение к полезному труду? Уважение к благородной праздности? Равнодушие к общественным интересам? Робость и неподвижность мысли во всех основных вопросах мирозерцания? Лучшее из всех этих *добрых чувств*, пробуждавшихся при звуках вашей лиры, есть, разумеется, любовь к красивым женщинам. В этом чувстве действительно нет ничего предосудительного, но, во-первых, можно заметить, что оно достаточно сильно само по себе, без всяких искусственных возбуждений, а во-вторых, должно сознаться, что учредители новейших петербургских танцклассов умеют пробуждать и воспитывать это чувство несравненно успешнее, чем звуки вашей лиры. Что же касается до всех остальных *добрых чувств*, то было бы несравненно лучше, если бы вы их совсем не пробуждали». — «Я буду бессмертен, — говорит далее

Пушкин, — потому что я был полезен!» — «Чем?» — спросят реалисты, и на этот вопрос не воспоследует ниоткуда никакого ответа. «Я буду бессмертен, — говорит наконец, Пушкин, — потому что я призывал милость к падшим». — «Господин Пушкин! — скажут реалисты. — Мы советуем вам обратиться с этим аргументом к тунгусам и к калмыкам. Эти дети природы и друзья степей, быть может, поверят вам на слово и поймут именно в этом филантропическом смысле ваши воинственные стихотворения, писанные не во время войны, а после победы<sup>7</sup>. Что же касается до *гордого внука славян* и до *финна*, то эти люди уже слишком испорчены европейскою цивилизациею, чтобы принимать воинственные восклицания за проявление кротости и человеколюбия».

